

**Анатолий Ананьев**

## **Танки идут ромбом (фрагмент)**

### **ГЛАВА ПЕРВАЯ**

Второй месяц батальон майора Гривы стоял в Соломках и так прижился в этой безлюдной, полуразрушенной деревушке и солдаты так привыкли в тишине, что как-то не верилось, что скоро снова начнётся бой, что снова, как под Москвой, как у берегов седой Волги, загрохочет земля от залпов, запылают крестьянские избы и в чадном дыму поползут по пашням, по заброшенным опустевшим полям желтокрестные танки, подминая гусеницами едва-едва выбросившую колос пшеничную осыпь, а небо, это голубое чистое летнее небо, усеется пятнами зенитных разрывов; как-то не верилось, что вновь, как в сорок первом, как в памятное лето сорок второго по донским степям, потянутся по взгорьям и перелескам курской земли вереницы отступающих колонн к переправам, сгрудятся на станциях эшелоны и тысячи беженцев на скрипучих подводах, угоняя и увозя все, что можно угнать и увезти, страшным половодьем потекут по пыльным просёлкам на восток. Как-то не верилось во все это. Думая о предстоящем бое, солдаты думали о наступлении. Многие надеялись на открытие второго фронта – должны же союзники в конце концов открыть этот злополучный фронт! Но союзники уже готовились принять другое решение. На военном корабле под глубочайшим секретом премьер-министр Англии Уинстон Черчилль в эти напряжённые дни отбыл в Вашингтон. Он сидел в мягкой каюте, больше думая о своей безопасности, чем о тех событиях, которые происходили в мире, и, тихо поскрипывая пером, писал в Москву: «Я нахожусь в средней части Атлантики по пути в Вашингтон, чтобы решить там вопрос о дальнейшем ударе в Европе после «Эскимоса»... Если ничего не случится, моя следующая телеграмма будет отправлена из Вашингтона». В пути с ним ничего не случилось, он благополучно прибыл к месту назначения и, как и обещал, сразу же после совещания с президентом направил телеграмму в Россию. Спокойным, холодным тоном оповестил он Советское

правительство о том, что союзники не смогут открыть второй фронт в этом году, потому что «имелась надежда, что в апреле 1943 года в Великобритании будут находиться двадцать семь американских дивизий, в действительности же теперь, в июне, имеется лишь одна и к концу августа будут лишь пять», и ещё потому, что «десантные суда втянуты в предстоящую большую операцию на Средиземном море». Эту операцию-вторжение в Сицилию, – носившую кодовое название «Эскимос», Черчилль считал настолько грандиозной, что она будто бы могла привести или, точнее, уже «привела к отсрочке третьего наступления Гитлера в России, к которому, казалось, велись большие приготовления шесть недель тому назад». Черчилль закончил свою телеграмму так: «Может даже оказаться, что Ваша страна не подвергнется сильному наступлению этим летом». Трудно, конечно, представить, чтобы английский премьер-министр был плохо осведомлён о действительном положении дел. Как раз в те дни, когда он сочинял это послание, в России, на двух фасах Курской дуги, немцы уже сосредоточили мощные ударные группы: одну – в районе Орла, другую – в районе Белгорода. Командующие группами фельдмаршал фон Манштейн и фельдмаршал фон Клюге уже получили последние наставления в ставке Гитлера и вылетели к своим войскам.

Между тем жизнь на фронтах шла своим чередом. Солдатам, за долгие месяцы обороны привыкшим к тишине, все же не верилось, не хотелось верить в скорые бои.

Стрекот кузнечиков, шелест подсыхающей травы, иногда приглушённый, иногда острый и звонкий – трущиеся листочки пырея как скрещённые клинки, – и небо над головой, высокое, безоблачное, всегда вызывающее ощущение вечности; и ещё-нестареющая память, уводящая в прошлое, к родным местам, к теплу, уюту, та самая солдатская память, остужающая в зной, согревающая в стужу, без которой, как без винтовки, как без шинели, нет бойца; и ещё, может быть, самое главное – ненависть к врагу, лютая жажда мести. Если бы сейчас спросили Царёва, о чем он думал, он не смог бы ответить точно, о чем. Просто было приятно лежать на спине, подставив солнцу оголённые до колен белые ноги, прислушиваться к шелесту травы, смотреть на небо и вспоминать; нечасто солдату, да ещё на фронте, выпадают такие минуты.

Подошёл Саввушкин, низкий, сухощавый и цепкий, как клещ. Карманы брюк его были туго набиты семечками. Он молча присел рядом с Царёвым.

– Уйди, – попросил Царёв.

– Травы жалко?

– Уйди, говорю, слышишь? Не плюйся над ухом.

– Зря прогоняешь. Спросил бы лучше: может, новости у меня какие есть?

– Какие у тебя могут быть новости?

– Есть.

– Ну брешу, – все так же не глядя на Саввушкина, равнодушно согласился Царёв.

– За «языком» пойдём сегодня.

– Кто сказал? – встрепенулся Царёв.

– Я говорю, Саввушкин!

– Тьфу! – Царёв опять лёг на спину. – Уходи, добром прошу, уходи, покуда не встал...

– Как хочешь.

Царёв расправил пилотку и снова прикрыл ею глаза. «Есть же на свете такие люди, – прислушиваясь к удалявшимся шагам Саввушкина, подумал он. – Придёт, растревожит и пошёл себе как ни в чем не бывало». Но на этот раз Царёв ошибся. Вскоре и его и Саввушкина вызвал к себе командир взвода лейтенант Володин.

Тюменский лесник Царёв был широк в плечах, приземист, ходил валко, как умеют ходить только коренные сибиряки; в больших ладонях, с детства знавших топор и лопату, – только взглянуть на эти ладони! – чувствовалась медвежья сила. Он был медлителен, вял, но, если уже брался за что, ворочал как ломовая лошадь. Саввушкин рядом с ним казался робким и хрупким. Покатые плечи, впалая грудь и тонкие сухощавые ноги придавали ему совсем мальчишеский вид. Родился и вырос он в Ставрополе, работал продавцом в сельпо и слыл первым бегуном в районе. В деревне так и звали его чемпионом. Эта кличка незаметно перекочевала за ним и в армию.

Царёв и Саввушкин считались в полку лучшими разведчиками. Лейтенант Володин гордился ими, как своими воспитанниками; капитан Пашенцев называл их «надёжной парой» и приберегал для особых заданий; знали об этих двух солдатах и в штабе полка, и даже в штабе дивизии. Вот почему, когда сегодня

нужно было срочно достать «языка», выбор пал на Царёва и Саввушкина. Инструктировал их сам командир батальона майор Грива. Задание важное, без «языка» возвращаться нельзя. Что ж, Царёв готов, Саввушкин – тоже; не раз и не два ходили они к фашистам в тыл, брали «языка», постараются и сегодня. Передний край противника знаком, всю весну стояли дуло в дуло с фрицами на этом участке, изучили. Ведь батальон лишь месяц назад отвели во второй эшелон. Отсюда, от Соломок, до передовой всего несколько километров – прямо по шоссе, через лесок – и вот они, окопы.

Вышли на шоссе, когда солнце было ещё высоко.

Шли молча.

Железные подковки каблуков сухо скрежетали о дорожный гравий.

За поворотом открылось пшеничное поле. Неровным желтоватым клином сползает оно в ложину и теряется в густом ивняке. На раздольной, как волна, высоте, на самой её вершине, в пыльной дымке копошатся люди; они растянулись по гребню, словно наступающая пехота, в длинную редкую цепь. Царёв приостановился, взглянул на них из-под ладони: закладывают траншею. «Ещё один оборонительный рубеж!» А по склону, над засохшими, почерневшими стеблями прошлогодних подсолнухов, то тут, то там, будто поставленные на дугу оглобли, торчат стволы вкопанных в землю орудий. Одна бата-рея, вторая, третья... Да здесь целый дивизион! Откуда? Неделю назад Царёв проходил по этому полю – ничего не было. Вот штука! Он обернулся, намереваясь поделиться с товарищем своим неожиданным открытием, но Саввушкин, приотстав, гнал перед собой, как футбольный мяч, консервную банку.

– Чего гремишь!

– Проминка. Ногам проминка.

«Мальчишка, дурь в голове, э-эх!»

Спустились в лог, потом шоссе снова вывело на косогор, и перед разведчиками развернулась холмистая с перелесками даль. За лесом в голубой дымке тонут белгородские высоты. Там – фашисты. И оттого высоты кажутся суровыми, насторожённо холодными, чужими. А здесь, по эту сторону леса, в балках, на пригорках, на плоских вершинах холмов и по склонам – всюду двигаются едва заметные фигурки солдат; вгрызаются в землю,

опутывают окрестность ломаными зигзагами траншей и ходов сообщений. В перелеске, среди нежных белоствольных берёз, стоят укрытые зелёными ветками танки; издали они похожи на копны; много копён, и веет от них не пряным сеном, а удушливо-горьким запахом бензина и металла. В лощине, как чёрные колья, подняли к небу жерла тяжёлые миномёты. Они гнездятся по самой кромке кудрявого ракутника. Над кустами клубится дымок походной кухни. «Сила-то, сила какая!» – мысленно воскликнул Царёв, удивляясь и поражаясь тому, что видел вокруг. И хотя эта сила окапывалась, закреплялась, готовилась к упорной обороне, все же радостно было сознавать, что она есть, что вот она, оцетинилась жерлами и ждёт только взмаха чьей-то могучей и твёрдой руки.

– Будут дела, чемпион, смотри! – Он хлопнул Саввушкина по плечу.

Тот удивлённо взглянул на Царёва:

– Какие дела?

– Смотри, брат, силища, а?

– Это-то?... Эт-то я и сам вижу.

– Ни черта ты не видишь, чемпион. Брось тарыхтеть своей жестянкой, сапоги портишь.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

На въезде в Соломки, почти у самой обочины шоссе, виднеется пятнистая, цвета летней степи палатка. В ней живут девушки-регулировщицы. День и ночь стоят они на развилке, пропуская бешеных мотоциклистов, лихих шофёров, медлительных и шумливых хозяйственников. Здесь пролегает одна из главных артерий фронта, и на ней непрерывно пульсируют красные флажки загорелых, запалённых – только глаза и зубы – девушек. Командует регулировщицами угрюмый рыжеусый сержант Шишаков. Он проверяет документы у проезжих и строго, как свёкор-ворчун, следит за девушками. Редко кто задерживается у палатки – стоит только присесть кому-нибудь, Шишаков хмурится и сердито произносит: «Проходи, проходи, товарищ, здесь нельзя». Особенно недолголюбивает он соломкинских, из батальона майора Гривы, – блудливый народ. Лишь один лейтенант Володин пришёлся ему по душе. Каждый раз, приходя на развилку, лейтенант приносил с собой пачку-две крепкой сибирской махорки

и почтительно, как подарок, вручал старому сержанту: «Держи, папаша, отводи душу». Шишаков крутил рыжие усы, смотрел хитровато, из-под бровей, и качал головой, дескать: «Вижу тебя, лейтенантик, насквозь вижу, жука масленого!» Махорку тут же пересыпал в объёмистый, как наволочка, кисет, затягивал его узелком и, кряхтя, прятал в бездонный брючный карман. Разговор обычно начинался с «как живёшь» и заканчивался волновавшим тогда всех «вторым фронтом». Не стесняясь в выражениях, Шишаков всю костерил Черчилля, Володин поддакивал ему, а сам то и дело украдкой поглядывал на дорогу – хоть бы машина, хоть бы мотоцикл! Наконец появилась машина, сержант, смоля толстую, в палец, самокрутку, отправлялся проверять документы, а лейтенант заходил в палатку к девушкам. Они угощали его чаем и охотно слушали разные фронтовые истории, которые Володин сам когда-то слышал, но о которых рассказывал обычно как очевидец. Нравилась ему Людмила Морозова – белокурая весёлая регулировщица: рассказам лейтенанта она не верила, смеялась над ним, называла «хвастушей», но ухаживания принимала благосклонно и однажды даже согласилась прогуляться с ним днём по селу. Но Шишаков не отпустил её. Это случилось недавно, вернее сказать, вчера. Володин ждал Людмилу возле развалин двухэтажной кирпичной школы, ждал почти дотемна, а потом ушёл в санитарную роту к фельдшеру Худякову.

Комбатовский мотоцикл, пыля, обогнул стадион и скрылся за плетнём. Володин отошёл от окна. Теперь можно было снова расстегнуть воротник и снять пояс. Полуденная жара спала, но в комнате упорно держалась нестерпимая духота. Сегодня лейтенант особенно тяжело переносил её. После вчерашней выпивки (а выпивал он в санитарной роте у фельдшера Худякова, где справлялись чьи-то именины: или старшей сестры, или самого фельдшера, – Володин так и не мог припомнить теперь) болела голова и чувствовал он себя разбитым. Ни за что не хотелось браться, начатое утром письмо к матери так и лежало на столе неоконченным. Лечь бы и уснуть, забыть обо всем на свете; ни тебе разведчиков, ни этой проклятой девчонки... Он вспомнил, как вечером ходил на развилку к Людмиле и как вместо Людмилы с ним, пьяным лейтенантом, разговаривал рыжеусый сержант Шишаков; сержант рассказывал о своей молодости. Вот старый черт! Володин прошёл к печке, вернулся к окну и опять прошёл к

печке. И, уже не останавливаясь, зашагал взад-вперёд, медленно, заложив руки за спину, точь-в-точь как только что делал это уехавший на мотоцикле майор Грива.

Майор приезжал инструктировать Царёва и Саввушкина, которых отправляли за «языком»; Володин вспомнил, как долго и назидательно говорил майор, как слушали его разведчики, то и дело повторяя: «Понятно, понятно!» – но Царёв все же переспросил, дадут ли минёра, чтобы расчистить проход к проволочным заграждениям; вспомнил ещё, как сам он стоял у окна и больше смотрел на дорогу, на дремавшего у ворот в коляске комбатовского мотоциклиста, чем на расстеленную на столе карту, – он знал наизусть эту карту с красными и синими линиями наших и вражеских траншей – и с нерешительностью думал о том, попроситься ему с разведчиками на задание или нет. Только когда солдаты вышли, Володин сказал командиру батальона: «Разрешите и мне с ними?» – но голос был так нерешителен и сам он казался таким вялым и сонным, что майор только недоверчиво покосился и ничего не ответил.

Ни о майоре, ни о Цареве, ни о Саввушкине, ни о ком не хотелось сейчас думать Володину; снова, как и утром, его охватил приступ гадливости: «Нахлестался, как дурак. И верно, что – пехота!» Пятернёй пригладил волосы, лениво потянулся и прилёг на ободранный скрипучий диван. Чтобы как-нибудь избавиться от неприятного ощущения, взял со стола «Правду» и – в который раз сегодня! – прочёл сообщения с фронтов. «Поиски разведчиков». Поиски! Завтра и про нас напишут так: «В районе Белгорода предпринимались поиски разведчиков...» Повернулся на бок и столкнул с дивана ногой сапожную щётку. Поднял её, повернул в руках: вот чего не хватало ему сегодня – щётки! Именно сапожной щётки! Володин чуть не вскрикнул от радости. Сейчас он навощет сапоги – и на развилку!... Решение пришло мгновенно, и он уже не пытался ни отменить его, ни как-либо изменить, даже не искал оправдания перед собой, – ведь только вчера дал клятву не ходить туда! – просто почувствовал себя свободно и легко, и эту лёгкость хотелось продлить как можно дольше. Когда вошёл старший сержант Загрудный доложить, что Царёв и Саввушкин уже отправились на задание, Володин не стал его слушать, попросил принести махорки.

– Закурить? – переспросил Загрудный.

– Пачку. Неужели забыл?

Старший сержант по-бычьему упрямо посмотрел на лейтенанта:

– Ребята не одобряют...

– Что не одобряют?

– Зачем она вам, девчонка эта...

– Вот что, Загрудный, – резко сказал Володин. – Не лезь в мои сердечные дела. Хочешь уважить, принеси, что прошу, а нет – сам достану.

Сначала тропинкой за огородами, потом краем оврага Володин шёл к развилке.

Может быть, впервые в жизни он чувствовал себя так хорошо и бодро, может быть, впервые в жизни так жадно смотрел на окружающий его мир и впервые, созвучный его душе, этот удивительный мир открывал перед ним свою красоту. Он видел все разом и видел каждую травинку в отдельности, любовался тем, что было рядом, у ног, и в то же время не мог оторвать взгляда от перелесков и холмов на широком, как размах, горизонте; прислушивался к звукам угасающего дня и прислушивался к себе, как бы проникал в глубь себя; и ему казалось, что все вокруг и он сам до краёв наполнены счастьем. Смешным и нелепым сном казалась ему теперь прошедшая в пьяном чаду ночь. Нет больше того Володина, взъерошенного и пьяного, а есть другой – чистый и звонкий; и оттого, что между тем и другим лежала теперь черта и эту черту провёл он сам одним решительным росчерком, – именно это и радовало его сейчас. Было приятно идти краем оврага, слышать пение иволги и знать, что все прошлое – прошло, а будущее – будет; и ещё знать, что есть на свете белокурая Людочка, которая, наверное, очень ждёт.

Людмила Морозова дежурила на посту. Когда Володин, обогнув пригорок, вышел на дорогу и увидел её, ещё не зная, а только догадываясь, что это она, – сердце взволнованно забилося. Он остановился и смотрел теперь только на неё. Смотрел неотрывно, проникаясь нежностью. Все в ней казалось милым: и кирзовые сапоги с широкими голенищами, и узкая защитного цвета юбка, и гимнастёрка с офицерскими карманчиками, туго обтягивавшая грудь. Сейчас она стояла неподвижно, опустив флажки, и смотрела на восток: там, за её плечами, на тонущей в синеве равнине, чернели, как точки, бог весть когда сметанные стога.



Володин ждал: сейчас Людмила заметит и окликнет его, улыбнётся, кокетливо запрокинет голову, и пилотка скользнёт по мягким белым волосам.

Он вздрогнул, услышав за спиной хрипловатый голос сержанта Шишакова:

– Пришёл? Ну что ж, коли пришёл, садись, потолкуем.

Говорил Шишаков степенно, и хотя Володин ещё не оборачивался и не видел его, по шелесту отрываемой газеты и по тому недружелюбному тону, каким произнёс сержант слова, понял, что у старика сегодня плохое настроение. Володин достал приготовленную для встречи махорку и все так же, не оглядываясь, как бы говоря этим: «Бери и уходи!» – протянул пачку за спину.

– Ишь ты, сибирская, – заметил старик слегка потеплевшим голосом. – А нам вчера опять саратовскую давали. И то ладно, и то спасибо. Да что дали-то, осьмушку на три дня! Хоть кури, хоть смотри, а при нашей службе сколько за день пройдёт да проедет всякого народу? Каждого угости. Попросит, где ж отказать? Достаёшь... Ты, лейтенант, присаживайся, потолкуем.

Было слышно, как Шишаков разгрёб сапогами траву и, покряхтывая, по-стариковски тяжело и грузно сначала припал на колени, затем сел и вытянул ноги. Долго ещё сопел и мостился, усаживаясь поудобнее, ладонью стряхивал что-то с гимнастёрки и сладко причмокивал губами. Володину неприятно было слушать возню старика; он знал, что если сейчас повернётся, увидит в радостно дрожащих руках знакомый огромный кiset, увидит багровое рыжеусое лицо с прищуренными от удовольствия глазами, сгорбленные покатые плечи с наискось пришитыми погонами и на погоне – прилипшую засохшую макаронинку. В прошлый раз он видел такую макароннику – надо же умудриться забросить её на погон и ходить не замечая. Нет, Володин не хотел оборачиваться, уже одно то, что Шишаков был рядом, досадно коробило лейтенанта. А девушка продолжала стоять к ним спиной и любоваться надвигающимися с востока сумерками. За чёрными стогами, за уже померкшей в сизом тумане дубовой рощей засыпала тревожным сном родная земля.

– Садись, – снова пригласил Шишаков. – Разговор есть.

Ладонью на ощупь выбрав место, Володин нехотя сел.

– Так вот дела какие, – с минуту помолчав, продолжал Шишаков. – Ты, лейтенант, вот что, ты лучше не приходи сюда больше. Слышь, добром прошу.

Подавляя в себе неприязнь к ворчливому старику, Володин обернулся и как можно спокойнее спросил:

– Что случилось?

– Не ходи, не положено сюда.

– Скажи толком, что произошло? Шишаков поднял брови, внимательно посмотрел в юное лицо лейтенанта.

– Хороший ты человек, рад бы для тебя и поступиться, но – приходить больше не приходи. Я, брат, порядок люблю. Порядок, он везде нужен. Даже и в семье и то без порядку не бывает. Ты вот приводишь сюда, а я, можно сказать, грех на душу беру. А на кой черт мне под старость грех этот? Я, брат, на службе, и у меня своё начальство есть. Случай что, кого к ответу? Меня. Где ты, скажут, сержант Шишаков, был? Куда смотрел, скажут, сержант Шишаков? Не тебя ли, старого дурака, предупреждали? Давай-ка отвечай теперь! А каково мне хлопать глазами, а?

– Ничего не понимаю.

– Тут и понимать нечего. Сказал не ходи – отрезал. Вот и весь разговор, – Шишаков достал кيسет, свернул новую сигарку. – Сегодня утром ротный наш приезжал. Говорит, на двенадцатом посту и на седьмом трюих комиссовали по беременности. Куда, спрашивается, отделённый смотрел? Теперь лычку с него снимут. А у меня в отделении – сколь уже месяцев? – ни одного случая. Ротный к награде обещал за отличную службу, а ты мне все подпортить можешь.

– Ты что, сдурел? Да я же просто...

– Просто, не просто, знаем мы вас!

Оттого ли, что лейтенант смотрел на него пристально и зло, или просто от боязни, что сказал резко и прямо, Шишаков предостерегающе поднял над головой руку. Володин усмехнулся, заметив этот боязливый жест, встал и, не обращая внимания на окрики приободрившегося Шишакова, пошёл к Людмиле.

По шоссе прямо на развилку двигалась большая колонна автомашин. Пришлось остановиться на обочине и переждать колонну. Мимо пронеслась, обдав тёплым ветром, легковая машина. Володин не успел разглядеть, кто сидел в машине – полковник или подполковник? Следом за легкой прошли крытые

штабные грузовики, а за ними на небольшой дистанции – мощные «студебеккеры» с прицепленными к ним длинноствольными противотанковыми орудиями. Они двигались попарно, с двух сторон обтекая регулировщицу. Из-под колёс брызгами разлеталась дорожная галька. В клубах пыли трепетал над головой девушки красный флажок. Он то скрывался, как в тумане, то снова был виден хорошо и отчётливо, и тогда казалось – не колонна мчалась по шоссе, а флажок летел над автомашинами.

Когда опустело шоссе и пыль, оседая, свалилась за обочину, Володин вышел на дорогу.

– Людмила! – позвал он.

Девушка оглянулась. Сначала на лице её появилась улыбка, будто она действительно обрадовалась встрече; потом озорно заблестели глаза, и она засмеялась, пока ещё беззвучно, но явно осуждающе, и от этого смеха Володину сразу стало как-то неловко. Торопливо оглядел себя, смущаясь и краснея, потрогал звёздочку на пилотке – все как должно быть. И вдруг услышал за спиной негромкое покашливание. Повернул голову: Шишаков стоял рядом и с усмешкой смотрел на него.

Володин почувствовал, как кровь прилила к вискам. Вплотную придвинулся к сержанту и прошептал:

– Старый мерин!

– Ну-ну-ну! – пятясь, зачастил Шишаков. Больше не говоря ни слова, Володин зашагал по шоссе в деревню.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

С командного пункта батальона разведчики отправились в расположение роты, где их уже поджидал минёр Павлинов, выделенный для расчистки прохода в минных полях. Они шли по неглубокому извилистому ходу сообщения. Места знакомые. Сотни раз бывал здесь Царёв, когда их батальон занимал этот участок обороны. Почти ничего не изменилось. Только местами пообвалились стенки да выцвела и потрескалась от бездождья красная глина. От стен веяло жаром, как от натопленной русской печи, и воздух был неподвижен и сух, а за бруствером, наверху, в зелёных лопухах, в острых листочках пырея, заманчиво сквозил предвечерний прохладный ветерок.

У разбитой снарядом осины, где ход сообщения раздваивался (одно из ответвлений вело к пулемётам), Царёв остановился.

Отсюда была хорошо видна высота, залитая вечерним солнцем, дремлющая, насторожённо ощетинившаяся ржавыми спиралями колючей проволоки. По самому верху тянулась едва приметная жёлтая полоса – это вражеские окопы. Ни одной выбоины, ни одного укрытия на белесовато-зеленом пологом склоне. Только у самого подножия, перед проволочными заграждениями зияет воронка. Она кажется маленькой и круглой, как пятак. Подходы к заграждениям и окопам заминированы. Это Царёв хорошо знает. Да и на командном пункте батальона только что говорили об этом. Мины уложены в траве и соединены тонкими, как паутина, проводами. Трудно придётся минёру распутывать в ночи эту паутину. Распутает, на то он и минёр.

Слева от высоты в немецкую линию обороны врезается глубокий, заросший ракетами овраг.

– Послушай, чемпион, как ты мыслишь: не двинуть ли нам опять знакомым путём, а? – спросил Царёв.

– Оврагом?

– Да.

– Пожалуй, самое верное...

Над головой с негромким, едва уловимым посвистом прошла стайка пуль, всколыхнув недвижимый горячий воздух, и через секунду издали, со стороны высоты, донёсся торопливый говор пулемёта. Царёв присел, Саввушкин отпрянул к стенке. Вторая строчка прошла по брустверу. На самом гребне словно вдруг закипела, забулькала глина; пуля срикошетила, ударилась в стенку и застыла в ней тёмным глазком.

Разведчики не стали пережидать обстрела, пригнулись и побежали.

Командир роты, которому ещё днём сообщили о разведчиках и их задании, провёл Царёва и Саввушкина на фланг. Траншея обрывалась у самого склона оврага. Отсюда и предстояло разведчикам с наступлением темноты выйти «на дело». Ротный начал объяснять обстановку, и Царёв, слушая его, убеждался, что далеко не все было так, как показалось ему с первого взгляда: многое изменилось – появились новые доты, пулемётные точки, а главное, немцы стали проявлять активность, особенно в эти последние дни вели себя «нагло», как выразился командир роты. На ночь они выдвигали почти к самым проволочным заграждениям снайперов. В прошлую ночь четверых в роте убили. И вообще у

противника наблюдается оживление, вроде бы гуще стало их, фашистов. По мнению ротного, все это не случайно: гитлеровцы явно готовятся к наступлению и начнут его в самое ближайшее время, может быть, даже завтра.

– В овраг тоже снайперов выставляют, – продолжал он. – Вон у тех кустов, сразу за колючей проволокой, и вчера и позавчера сидел один черт. Должно быть, и сегодня придёт. Вам надо успеть до его прихода добраться туда и устроить засаду. Выходите сразу, как только начнёт смеркаться. Немцы в это время ужинают, и вы успеете проползти. Иначе ничего не выйдет. Теперь условимся о сигналах: как закончите дело, дайте красную ракету. По красной ракете будем прикрывать ваш отход огнём. Ясно?

– Ясно, – ответил Царёв.

Командир роты ушёл, а разведчики долго ещё вглядывались в те кусты на склоне оврага, куда должен, по словам ротного, прийти немецкий снайпер. Рядом с Царёвым и Саввушкиным стоял минёр Павлинов и жевал сухарь.

Царёв покосился на него и недоверчиво спросил:

– Давно в минёрах?

– Давненько.

– Прыгающие сымал?

– Приходилось и прыгающие...

Над немецкими окопами догорал закат. По склону ползли оранжевые тени. Ползли, угасали. Проволочные заграждения таяли, стужёвывались, словно погружались в сиреневую дымку. Овраг потемнел, взбух, как река в половодье, и вот уже сумеречный туман поплыл через край по лощине. А гребень высоты ещё пепельно-белый, но и он уже начинает синеть, сливаться с небом. Макушки берёз, на которых только что лежал отсвет заката, обволакиваются густой пеленой ночи.

По низу, по дну траншеи, подул ветерок. Прохладой обдало ноги. Холод проник под гимнастёрку и забегал по спине сотнями мурашек. Царёв передёрнул плечами.

– Морозит? – заметил минёр.

– Холодно вато вроде...

– Да, жить – оно каждому хочется... Подошёл высокий пехотинец в обмотках. Попросил закурить. Спросил:

– Туда?...

– Туда.

Царёва в роте считали бесстрашным солдатом, и он всячески старался поддерживать это лестное мнение о себе. Но нелегко давалось ему бесстрашие. Уже в ту минуту, как получал задание, он начинал волноваться, и волнение нарастало по мере того, как он приближался к передовой, выползал на ничейную зону, подбирался к той черте, за которой уже все чужое – и кусты, и дороги, и тропы; где – ни закурить, ни сморкнуться, ни выругаться с досады или злости, когда что не так; где – каждый шорох таит в себе смертельную опасность. Может быть, потому-то и действовал он осмотрительно, расчётливо, потому-то и сопутствовала ему удача. Но сам Царёв все свои удачи приписывал другому – суеверной примете. Издавна тюменские лесники, уходя на медведя, оставляли дома завязанную узлом рубаху. Эту извечную дедовскую примету перенял Царёв от отца и фанатично верил в неё. Каждый раз, отправляясь на разведку, он завязывал узлом старую нательную рубаху и прятал её в вещевой мешок. Но сегодня рубахи не оказалось под руками, старший сержант Загрудный собрал все грязное бельё во взводе и отдал в стирку, и Царёв впервые пошёл на задание, не оставив в роте «доброй приметы». Правда, дома, в Тюмени, лежит в сундуке рубаха с узлом, – он обязательно вернётся с войны домой! – но все же суеверный страх какой-то особой, тяжёлой тоской лёг на сердце. Предчувствие неминуемой беды тяготило Царёва и когда он шёл с Саввушкиным по дороге и восхищался силищей, которую видел вокруг, и когда рассматривал вражеские окопы из хода сообщения, и особенно теперь, когда с минуты на минуту предстояло покинуть траншею. Минёр казался Царёву подозрительно молодым и неопытным – потому так недоверчиво и расспрашивал его; раздражал сегодня и Саввушкин своей беспечностью – опять лужает семечки, как девка на завалинке.

– Брось! – резко сказал Царёв.

– Что, уже выходим?

– Да, выходим. Выверни карманы!

Только после того, как Царёв убедился, что ни в руках, ни в карманах у Саввушкина не осталось ни одного семечка, дал команду выходить. Было уже темно. Царёв чувствовал, что запаздывает, и это тоже раздражало его. Он шёл за Павлиновым шаг в шаг и зорко следил за ним, когда тот обезвреживал мины. Идти было трудно по скользкой и волглой траве оврага. На выходе

из ракитника остановились. Где-то в трех – пяти шагах находились проволочные заграждения. Колючая проволока обвешана жестянками – это Царёв видел ещё днём: загремит, и все пропало. Немцы всполошатся, пустят осветительные ракеты, начнут прощупывать овраг прожектором... Царёв не знал, что в эту ночь немцы сами нуждались в кромешной тьме. Они готовились к наступлению и выслали сапёров расчистить свои минные поля перед проволочными заграждениями. Как раз в ту минуту, когда Царёв с Павлиновым и Саввушкиным остановились в трех шагах от витков колючей проволоки, по ту сторону витков, на поляне, приступали к работе немецкие минёры. Шагов их не было слышно. Поверху, по макушкам ракут, скользил ветерок и шелестел листьями, заглушая все ночные шорохи.

Надо было, как советовал ротный, успеть к тем кустам на склоне, куда выходил на ночь немецкий снайпер. Царёв торопился и делал ошибку за ошибкой. Можно было проползти руслом ручья под проволочными заграждениями, а он стал искать когда-то, месяц назад, им же самим проделанный подкоп. Ползал вдоль витков и привлекал шумом немецких минёров. Они прекратили работу и молча, не обнаруживая себя, следили за действиями Царёва и Саввушкина. Подкоп Царёв не нашёл, только потерял время, и спустя полчаса снова вернулся к ручью. Он понимал, что ползти к кустам уже бессмысленно, но все ещё надеялся – не там, так в другом месте удастся подкараулить и схватить «языка». Ещё не было случая, чтобы Царёв не выполнил задания. О суеверной примете забыл. Просто страх перед неизвестностью и торопил и сковывал его движения.

Русло пришлось углублять и расширять. Он вгонял лопату в податливое, песчаное дно ручья, почти не соблюдая осторожности. Саввушкин, правда, уловил странные шорохи в ракитнике, как раз в том месте, где ручей выходил из-под витков колючей проволоки, но, привыкший всегда полагаться на Царёва, не придал этому никакого значения. Когда дно было расчищено, первым полез под заграждения. За ним двинулся Царёв. Павлинов остался поджидать их на своей стороне.

Едва Саввушкин прополз под витками и приподнялся, чтобы осмотреться, кто-то сильно ударил его по голове. Все произошло быстро, в одну секунду. В темноте ничего не было видно. Царёв только услышал тупой удар, стон падающего человека, грубые,

чавкающие шаги. Но и этого было достаточно, чтобы понять, что произошло. Холодом обдало тело – все, ловушка! На локтях рванулся вперёд, чтобы заслонить собой упавшего Саввушкина, но только успел поймать его за ногу. Сапог соскользнул и остался в руках Царёва. Обожгла новая догадка – немцы потащили Саввушкина к себе!... Не успел Царёв решить, что делать, перед глазами вспыхнуло и закипело белое пламя автомата. Пули взвизгнули в железных витках колючей проволоки. Царёв ткнулся лицом в осоку и замер. Суеверный страх, тяготивший его весь этот вечер, – не оставил «доброй приметы»! – теперь разом охватил и чувства и мысли, и Царёв, поддавшись этому страху, ждал с закрытыми глазами своей участи. Но это длилось недолго. Из-за спины, с той стороны заграждений, ударил из автомата Павлинов, и сразу ночь словно раскололась от огня, и на какое-то мгновение Царёв отчётливо увидел угловатые фигуры немецких солдат. Они волочили по дну оврага под руки обмякшее тело Саввушкина.

Конец ознакомительного фрагмента

Эту книгу Вы можете взять:

- в отделе абонемента по адресу г. Оренбург, ул. Правды, 7
- в читальном зале нашей библиотеки по адресу г. Оренбург, ул. Советская, 20.

Получить доступ к электронной версии книги Вы можете в электронном читальном зале нашей библиотеки по адресу г. Оренбург, ул. Советская, 20, 2 этаж.